

**СЕРГЕЙ А. ЛИШАЕВ**  
**СТАРОЕ И ВЕТХОЕ:**  
**ОПЫТ ФИЛОСОФСКОГО ИСТОЛКОВАНИЯ**  
**СПб.: Алетейя, 2010. – 208 с. (Серия «Тела мысли»)**

Новая книга философа Сергея Лишаева является отредактированным и доработанным собранием ранее опубликованных исследований, посвящённых проблематике ветхого и старого в контексте феноменологии эстетических расположений. Сергей Лишаев давно работает в этой методологии, генетически восходящей к хайдеггеровской экзистенциальной аналитике, но приобретшей отчётливый авторский вид, проявляющийся, в частности, в дескриптивизации и имплицитной психологизации философского дискурса, сочетающихся с эксплицитной риторикой онтологизма.

Интерес к ветхому и старому автор мотивирует и положительными, и отрицательными соображениями. Первые проистекают из странной таинственности, содержащейся в этих феноменах и побуждающей к пониманию, вторые – из убеждения, что данный опыт послужит альтернативой современности как царству поверхностей, симуляций, релятивизации фундаментальных различий, понижения метафизической чувствительности, примитивизации душевной жизни – миру, в котором вместо созерцания предлагаются одни экранные зрелища. Эта негативная эмоция пронизывает всю книгу, которая таким образом входит в перманентно разрастающийся сонм сочинений, направленных на тотальную критику современного образа жизни, его моральную дискредитацию на фоне мифологизированного прошлого – утопической территории всякой подлинности. Но книга сильна не своими критическими мотивами, а ценностной апологией созерцания ветхого и старого в различных его модификациях, например в форме старых фотографий или заброшенных поместий, и проведением тонких различий в сфере тематизируемого опыта, его внимательными и эвристичными дескрипциями.

Первая часть книги посвящена выяснению природы так называемого «влечения к ветхому», непроизвольной и странной притягательности, которой обладают ветхие вещи. Исследование разворачивается на манер А.Ф. Лосева: через серию апофатических определений (ветхое не есть исконное, древнее, старомодное, ущербное или больное) – к положительному. Ветхое есть все то, «в чём усмотрено разрушение его вещественно данной определённости как неизбежное и необратимое» (с. 20–21). Главная ценность этого опыта состоит в том, что ветхие вещи, как ничто другое, демонстрируют временность как способ своего существования (конечность, бытие-к-смерти) и тем самым временность как само-

стоятельную экзистенциальную судьбу всего сущего, перед которой блекнут всякие предметно-смысловые (эйдетические) различия. Различая *сущности* вещей, схваченные умом в их вечном скульптурном *акме*, в платоническом умопостигаемом завершённом космосе, и, с другой стороны, изменчивое *существование* вещей, доступное чувствам и «задевающее за живое», философский нарратив Лишаева то и дело перетекает в лирическую прозу: «“Полумный” вещный мир во всей его скоротечной изменчивости, чухоточной ветхости, напротив, словно бы вызывает к человеку с мольбой о сострадании и спасении мощами осенней листвы и чуть слышным шёпотом сухих стрекозиных крыл» (с. 29).

Вообще надо сказать, что феноменологическая, то есть исследовательская, позиция, заключающаяся в экспликации того, что нам показывают те или иные феномены, чередуется в книге с периодическими отклонениями в сторону литературного самовыражения, фиксации поэтически-метафизического настроения самого автора. Данное обстоятельство, безусловно, включает рецензируемую работу в традицию русской религиозной философии, феноменологические черты которой, как, например, у С. Франка или Н. Лосского, сущностно перемешаны с догматической метафизикой. Именно поэтому у Лишаева кроме временности появляется «за-вещенное» вещам Время с большой буквы, Первое Начало вещей, Единство мира и т. п. Поэтому у него не только данности выступают предметом рефлексии, но и *за-данности*. Основной метод автора в таких разворотах мысли от критики к квазирелигиозной метафизике – это беспроегрешное эзотерическое корнесловие хайдеггеровского типа. Надо отдать должное подобному лингвизму: Лишаев – как рыба в воде в стихии русского языка, в его корнях и приставках. Вот только всегда остаётся вопрос: язык – это то, что вплотную подводит нас к *самим вещам*, или то, что всё-таки нас *подводит* в другом смысле, то есть, по сути, уводит от вещей в мир языковых симуляций, чисто языковой реальности, типа хлебниковских времирей? Оставим этот вопрос открытым.

Очень интересная, продуманная, фактически новаторская и убедительная часть книги связана с аналитикой восприятия ветхого и выделения в этом восприятии отдельных типов. Тут проведена довольно тонкая и скрупулёзная работа. Ветхое только как *ущербность качества вещи* (прогнившие дома, разбитые дороги) – это обыденный опыт ветхого, где ветхое как ветхое ещё не воспринято. Захваченность ветхим – переживание скоротечности существования людей и вещей, опыт ветхого как такового, порождающий две противоположенные реакции – отшатывание и влечение. Наконец, созерцание ветхого – дистанцированный эстетический опыт ветхого. Работа Лишаева направляется, таким образом, на проведение различий в ноэтической сфере опыта, коррелятивно связанной с его предметным полюсом. В этом отношении автор следует основному принципу классической феноменологии, заключающемуся, как известно, в требовании рассматривать всякое «что» только в

перспективе различных «как», различных модусов данности. Лишаев дифференцирует акты виденья и созерцания, описывает созерцание ветхого в соотношении с созерцанием прекрасного и возвышенного, выделяет в созерцании ветхого эстетическое и этическое – все для того, чтобы в конечном итоге обосновать автономию ветхого, его неподчинённость классическим категориям эстетики.

Эстетика вообще – специализация автора, поле его профильного философствования, неслучайно он является создателем и руководителем Центра философских и эстетических исследований при Самарской гуманитарной академии. У Лишаева своя оригинальная концепция эстетики, выраженная им в ряде книг<sup>1</sup>, заключающаяся в онтологизации чувственности, онтологическом анализе различных форм чувственной данности Другого (Бытия).

Кризис эстетики, а также ее актуальный ренессанс в современной европейской философии каким-то образом никак не сказались на стиле философствования автора данной монографии, он существует как бы сам по себе, вне существующих сегодня эстетических направлений, позиций и авторитетов, без оглядки на них, опираясь лишь на собственный опыт и философскую традицию. Лишаев не видит серьёзной надобности во включении своего высказывания в те или иные конвенциональные теоретические контексты, которые существуют в текущей мировой философии, отсюда единичное цитирование современных философов, отсюда практически полное отсутствие ссылок на научные исследования по тематике, которая обсуждается в книге, например, по проблеме старости (последняя часть книги), отсюда характерное отсутствие обращения к зарубежным авторам, за исключением пары ссылок на Бодрийяра. Он как бы не хочет отвлекаться на подобные глупости, будучи погружённым в процесс описания значимого опыта. Вместо обычной академической легитимации своих мыслей, выражающейся в знакомом каждому длинном списке использованных научных трудов, он предпочитает опираться на произведения русских писателей: тексты Чехова, Бунина, Пришвина, Тютчева, Шукшина и т. д. служат ему не только материалом анализа, но как бы аргументом в защиту тех или иных собственных дескрипций.

Конечно, мы имеем здесь дело не с диссертацией и даже не с диссертационной монографией, а с авторской книгой, где, разумеется, хозяин – барин, однако книга эта всё же преследует цели философской систематики в отношении исследуемой темы. Поэтому это не вопрос жанра, а, скорее, вопрос позиции. Подобное позиционирование акта философствования, сочетающее гордость одиночки, теоретический изоляционизм и вместе с тем риск самостоятельности, притязания на *свою философию*, безусловно, имеет право быть. Даже несмотря на то, что, как говорила замечательный

<sup>1</sup> Лишаев С.А. *Эстетика Другого: Монография*. Самара: Самар. гуман. акад., 2000; Лишаев С.А. *Эстетика Другого: эстетическое положение и деятельность: Монография*. Самара: Самар. гуман. акад., 2003.

философ и социолог Н.Н Козлова, ответственное цитирование того разнообразного контента, который так или иначе поучаствовал или участвует в твоей мысли, пусть даже косвенно и опосредованно, – долг вежливости по отношению к его создателям. Я не буду обсуждать плюсы и минусы авторского позиционирования в книге – очевидно, что тут есть и то, и другое; в конечном счёте, всё решает интеллектуальный и дискурсивный таланты философа. А подобные таланты у автора *Старое и ветхое*, безусловно, на лицо.

Открывая в эстетической теории совершенно новый неклассический пласт – ветхое, эстетику которого определяет не пространство, а время, Лишаев пытается также всмотреться в теоретические возможности своего открытия. Это и возможность мыслить время вне «принципов историчности и субъективности» (с. 98), и «возможность мыслить пространство и время в их совместности в горизонте чистого присутствия» (с. 99), возможность более чёткого различения привычных эстетических диад прекрасное/красивое, возвышенное/высокое, ветхое/старое, возможность последовательного различения *эстетики бытия* и *эстетики сущего*, у каждой из которых есть свои феномены и категории, возможность обнаружения новых мотивов мирового искусства и, наконец, возможность новой проблематики историко-культурных исследований, перед которыми может быть поставлен вопрос об исторических и культурных особенностях «влечения к ветхому». Действительно масштабные замыслы, грандиозная исследовательская программа на годы вперёд.

Части вторая и третья посвящены *старому*. Различая старое и старинное, автор находит уникальный объект для описания созерцания старого – *старая фотография*. Тем самым Лишаеву удалось найти свою нишу в набирающем обороты в отечественной философии (в западной это существует уже несколько десятилетий) исследовательском движении в сторону философского анализа фотографии (работы Подороги, Савчука, Петровской и многочисленных авторов, работающих в парадигме визуальных исследований). Главная идея главы состоит в том, что старая фотография как разновидность бытовой семейной фотографии противодействует медийному забвению первичной реальности, возвращает «человека к общению с реальностью, к молчанию, к внутренней сосредоточенности, к тишине созерцания» (с. 130). Глава как раз посвящена тому, как именно старое фото добивается такого результата. Основной фигурант здесь также – время. Именно «работа времени» создаёт ауру старой фотографии, делает её предметом специфического эстетического опыта, вводя отсутствующее в присутствие, в световой образ, затеявая странную борьбу между присутствием и отсутствием, «здесь» и «там», «тогда» и «теперь». Опыт созерцания старой фотографии сродни созерцанию ветхого, поскольку проходит через расставание с миром конечных вещей к восприятию самой временности и отрешённо-просветлённой встрече с Другим (не-сущего, Другого-как-бытия). Сходный опыт, согласно автору,

мы переживаем, созерцая фотографию на могильном кресте или надгробном памятнике. Автор справедливо считает, что старая фотография является одним из привилегированных способов вхождения в эстетическое событие.

Наконец, последняя глава книги посвящена старости. На мой взгляд, эта глава, по меньшей мере, наиболее спорная из всех, если не сказать наиболее тенденциозная. Не только потому, что автор здесь перестает работать в методологии анализа эстетических расположений и переходит к философии возраста, не только потому, что возраст, в том числе старость, он понимает здесь не феноменологически, а натуралистически, как определённый биологический этап, но и потому, что тут некие собственные идеологические установки автора сильно помешали непредвзятому философскому анализу. Вкратце передам суть авторского нарратива.

Итак, суть позиции такова: Новое время устремилось к прогрессу, культивируя этос перманентного обновления жизни, творчества, индивидуальности. Поэтому в аксиологическом отношении молодость вытеснила старость. Страх перед старостью, геронтофобия стали существенны там, где Модерн достиг своих успехов, прежде всего в Америке и на Западе. Со смертью деревни умерло почтение народа к «преклонным летам» и «сединам», а «устранение метафизической Вертикали в обществе принудительного гуманизма ... привело к выдвиганию на первый план феноменов скорости и новизны» (с. 161). Молодым быть модно, старики сами стыдятся своей старости и подражают молодёжному стилю в одежде, поведении, хотят казаться активными, бодрятся, «цепляются за жизнь», хотят быть полезными. В медийном пространстве всё подается в упаковке молодости, о старости самой по себе нигде не говорят, эта тема не допущена к широкому обсуждению. А всему виной общество потребления, невиданных скоростей, экранных поверхностей, уничтожающих опыт тайны, и тотальных коммуникаций, уничтожающих ценность тишины и молчания. Геронтологи ничего не понимают, все, кто говорит о старости, говорят лишь о её физике или психофизике. Всё это связано со страхом перед реальностью, перед конечностью человеческого существования.

Геронтофобии близка практика обезболивания, омолаживания тела – в итоге постхристианский «обезболенный человек», который не хочет стареть, страшно далёк от реальности, он погряз в мире медийных симулякров. Геронтологи обманывают стариков, стремясь сделать так, чтобы они чувствовали себя нужными людям. А старики падки на эти чувства и впадают в самообман. На самом деле их «нужность», «полезность» в другом. Благо старости «стоит в том, что старость помогает человеку хотя бы в последние годы жизни освободиться от своей нужности (от необходимости быть полезным своим близким, обществу и “себе любезному”)» (с. 177). Старики, принимающие свою старость и смерть, *нечто знают*, они ближе всех к вечности. «Этим знанием, этой неспешностью и сиянием особой старческой красоты они нужны молодым и

достигшим зрелости людям больше всего. Они нужны как раз тем, что они не с нами» (с. 177).

Что сказать?! Схема и пафос ясны. Но, по моему мнению, они страшно далеки от реальности, примерно так же, как была далека от неё тотальная критика Маркузе, который видел в американце «одномерного человека», потому что смотрел только те телеканалы, где круглые сутки крутят рекламу, а на каналы, где с утра до вечера звучит классическая музыка, переключить не догадался. У Маркузе была «книжная» критика, у Лишаева она тоже питается медийными мифами и некоторыми штампами отечественной почвеннической литературы и философии. В таких вопросах, напрочь заросших эквивокациями, никак нельзя обойтись без историзма, без социального мышления.

Давайте спросим себя: это когда и где уважали старость как таковую, уважали не в идеологических доктринах, а в повседневности? С таким же успехом можно сказать, что XX век – это век открытия старости, как, кстати, и детства. Вспомним ритуальные практики убийства стариков и больных в архаических обществах. Старость всегда приравнивалась к болезни по причине нетрудоспособности старого человека. Стремление к молодости и здоровью – это не завоевание Модерна, а идея человека во все времена, как и мечта о бессмертии. Она имеет онтологические корни. Отсюда постоянные, в том числе в Средние века, поиски эликсира молодости, отсюда запечатлённые в фольклоре всех народов отчаянные попытки омоложения старого человека при помощи волшебства. Ю.Е. Арнаутова, например, пишет про древнегерманскую, античную и ветхозаветную традиции, в которых господствовала «абсолютно земная ориентация всей системы моральных ценностей и норм, обусловившая признание здоровья, физической силы и молодости позитивными ценностями»<sup>2</sup>. Конечно, христианство принесло идею смирения: старость и смерть теперь должны были приниматься как часть порядка вещей, который нельзя изменить (при всём желании). Но всегда есть разница между официальной доктриной, обусловленной интересами производящей эту доктрину институтов, и повседневной жизнью людей. Сугубо православный, иноческий институт старчества, служащий, видимо, парадигмой для автора, выдаётся в работе за содержание всего традиционного общества.

Далее: современное общество отнюдь не «обезболенное», побеждена острая боль, а хронической боли, к сожалению, стало гораздо больше. И, наконец, Запад, и Америка в том числе, – это территория реабилитированной и даже культивированной старости. Если раньше старику оставалось только ждать своей кончины, потому что он никому не был нужен, то теперь старый человек получил возможность жить полноценной жизнью, ему открыты все впечатления бытия: и досуг, и образование, и путешествия, и соци-

<sup>2</sup> Арнаутова Ю.Е. *Колдуны и святые: Антропология болезни в средние века*. СПб.: Алетейя, 2004. С. 143.

альные сети. Общество стареет. Старый американец не молодится, он просто живёт полной жизнью, не бегая от смерти, но и не приближая её. Это завидная участь. А Россия – это страна униженной старости, при очевидной чиновничьей геронтократии. «Старикам здесь не место» – это про Россию. Именно поэтому здесь нужен совсем другой дискурс старости: социальный, гуманистический, геронтологический, антидискриминационный.

Могу согласиться (с рядом оговорок) лишь с той положительной типологией *этоса старости*, которую Лишаев предлагает в конце книги. Он различает принятие человеком собственной старости (подлинная старость) или её непринятие (неподлинная старость). Первая старость может переживаться «под знаком старого» (этос подведения итогов, завершения начатого), может переживаться «под знаком ветхости» (этос полной отрешённости от жизни, всего мирского, открытость Другому). Этос «ветхого старца» – часть христианской традиции и коррелят философии как «искусства умирания».

Итак, перед нами очень оригинальная и последовательная в своих новаторских идеях книга. Она убедительно и эвристично вводит в философию совершенно новые феномены (ветхое и его производные), намечая большие тематические перспективы в различных отраслях философии. Она предлагает по-новому взглянуть на «вечные вопросы», погружая нас в кропотливую феноменологическую работу тонких различений в определённом регионе опыта, и вместе с тем вносит свой вклад в тотальную критику современности. Наконец, она побуждает к серьёзному спору, что также является неотъемлемым атрибутом настоящей философии.

*Виталий Лехицер*